

Карен
Бликсен



Из Африки

[роман]



XX век / XXI век – The Best

Карен Бликсен

Из Африки

«Издательство АСТ»

1937

УДК 821.111-31(489)
ББК 84(4Дан)-44

Бликсен К.

Из Африки / К. Бликсен — «Издательство АСТ», 1937 — (XX
век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-107771-6

«Из Африки» – литературная классика XX столетия. Роман, который лег в основу удостоенного семи «Оскаров» одноименного фильма с Мерил Стрип, Робертом Редфордом и Клаусом Марией Брандауэром в главных ролях. История незаурядной, сильной женщины, заброшенной судьбой из элегантных салонов Серебряного века в дикую, экзотическую колониальную Африку – и научившейся любить и понимать эту землю и ее людей так, как это дано не каждому европейцу. История ее нелегких отношений с двумя мужчинами – легкомысленным, ленивым и обаятельным мужем-аристократом и сильным, отважным, но, увы, не предназначенным для семейных уз искателем приключений. История ярких характеров на фоне интереснейшей исторической эпохи!

УДК 821.111-31(489)
ББК 84(4Дан)-44

ISBN 978-5-17-107771-6

© Бликсен К., 1937
© Издательство АСТ, 1937

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Каманте и Лулу | 6 |
| Ферма Нгонг | 6 |
| Африканский ребенок | 15 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 22 |

Карен Бликсен Из Африки

Karen Blixen
Den Afrikanske Farm

© Karen Blixen & Gyldendal, Copenhagen 1937

© Перевод А. Ю. Кабалкин, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

Каманте и Лулу

Ферма Нгонг

Я владела фермой в Африке, у подножия нагорья Нгонг. Поблизости, всего в ста милях к северу, проходит экватор. Сама ферма располагалась на высоте более шести тысяч футов над уровнем моря. В разгар дня там создавалось впечатление излишней близости к солнцу, зато раннее утро и вечера были прозрачны и приносили облегчение, а ночами бывало даже прохладно.

Благодаря географическому положению и высоте местные пейзажи не имеют себе равных в целом свете. Они совершенно лишены избыточности и пышности: это Африка, пропущенная сквозь фильтр толщиной в шесть тысяч футов, незамутненная сущность континента. Все краски были там сухими, выгоревшими, как на глиняной посуде, листва на деревьях – легкой и воздушной, совсем не европейской: она не образовывала куполов и не тянулась вверх, а располагалась горизонтальными слоями. Высокие деревья, стоящие каждое само по себе, походили благодаря этому то на пальмы, то на романтические парусники, свернувшие в преддверии героической битвы все свои паруса; опушка зарослей выглядела загадочно: она всегда чуть заметно вибрировала. Из травы бескрайних саванн торчали здесь и там голые корявые стволы колючих деревьев; сами травы источали аромат тимьяна и восковницы, местами настолько сильный, что от него щипало в ноздрах. Все цветы в саванне и на ползучих побегах, обвивающих стволы в лесу, были мелкими, совсем не тропическими, и только в начале сезона дождей на равнинах раскрывались крупные, издающие тяжелый запах лилии. Главной составляющей ландшафта был бесконечный простор. Все дышало величием, свободой, ни с чем не сравнимой горделивостью.

Местные пейзажи и сама жизнь до краев насыщены воздухом. Вспоминая африканские нагорья, ловишь себя на поразительном ощущении, что какое-то время парила в воздухе, а не ходила по земле. Небеса там почти всегда сохраняли бледно-голубой или бледно-лиловый цвет, с величественными, но невесомыми, беспрерывно меняющими форму облаками, выстраивающимися в грандиозные башни или скользящими за горизонт; однако небо всегда оставалось залито лазурным свечением, благодаря чему цепочки гор и стена джунглей приобретали свежую темно-синюю окраску. В разгар дня небо светилось и полыхало; от него, как от бегущей воды, волнами расходились лучи, заставлявшие двоиться все предметы и рождавшие величественную фата-моргану. На этих возвышенностях легко дышится, душа наполняется уверенностью и легкостью. Человек просыпается там утром с мыслью: «Именно здесь мое место».

Горы Нгонг представляют собой длинный хребет, протянувшийся с севера на юг и увенчанный четырьмя величественными вершинами, напоминающими темно-синие волны, взметнувшиеся в небеса и так застывшие. Эти пики достигают высоты восьми тысяч футов над уровнем моря и в своей восточной части высятся на пару тысяч футов над окружающим ландшафтом. На западе же разверзается пропасть: там горы вертикально обрываются; дальше раскинулась Большая рифтовая долина.

Ветер на возвышенности постоянно дует в одном и том же направлении – с северо-северо-востока. Именно этот ветер получил на берегах Африки и Аравии наименование муссона, то есть восточного ветра, всегда сопутствовавшего царю Соломону. Здесь, на высоте, он ощущается просто как сопротивление воздуха, словно земная твердь рвется из-под ваших ног на штурм пространства.

Ветер ударяет прямо в склоны возвышенности, которые были бы идеальным местом для взлета планера: воздушные потоки помогали бы ему взмывать в небо, оставляя внизу горные

вершины. Облака, переносимые ветром, кружат вокруг возвышенности либо, засев на вершине горы, проливаются дождем. Те, что проплывают выше и оказываются недостижимы для горных кряжей, относит дальше на запад, к выжженной пустыне рифтовой долины. Сколько раз я наблюдала с порога своего дома за этими величественными процессиями, восторгаясь тем, как они, перевалив через вершины, тают в синем воздухе!

Для наблюдателя с фермы горы несколько раз на протяжении дня меняли свое обличье: иногда казалось, что они приблизились вплотную, иногда – что отошли очень далеко. В коротких вечерних сумерках при первом взгляде в их сторону мерещилась тонкая серебристая полоска, окаймляющая темный силуэт горной цепи; с наступлением крошечной тьмы все четыре вершины словно сглаживались, расплывались, готовясь к ночному отдыху.

С нагорья Нгонг открывается неподражаемый вид: на юге простираются до самой Килиманджаро бескрайние равнины, кишасие дичью, к востоку и северу – похожий на ухоженный парк ландшафт, предгорья, покрытые лесами, а также холмистая местность – резервация племени кикую, протянувшаяся до горы Кения в сотне миль отсюда. Резервация предстает издали мозаикой маленьких квадратиков кукурузных полей, банановых плантаций и пастбищ; там и сям поднимаются дымки – это готовится еда в туземных деревеньках, состоящих из островерхих глиняных построек. Зато на западе, далеко внизу, простирается безжизненный лунный пейзаж – бурая пустыня с крапинками кустарников и выющимися речными руслами, похожими сверху на темно-зеленые борозды. Вдоль русел растут кактусы и высокие акации с раскидистыми ветвями, усеянными острыми шипами; там обитают жирафы и носороги.

Само нагорье тоже предстает, стоит в него углубиться, необъятной, живописной и загадочной страной: здесь хватает и длинных узких долин, и чащоб, и зеленых склонов, и каменистых уступов. Выше в горах, под одной из вершин, имеется даже бамбуковая роща. Я часто устраивала там привалы у бесчисленных ручьев и источников.

При мне на этих склонах еще водились буйволы, антилопы канны и носороги; старейшие из африканцев помнят времена, когда здесь встречались слоны, и я очень жалела, что весь хребет Нгонг не был в свое время объявлен заповедником. К заповеднику была присоединена только небольшая его часть, о чем свидетельствовал столбик на южной горе. Когда колония добьется процветания, и Найроби, ее столица, вырастет в крупный город, горы Нгонг могли бы превратиться в замечательные пригородные уголья. Однако в последние годы моей жизни в Африке столичная молодежь завела привычку ездить туда по воскресеньям на мотоциклах и палить во все, что только попадется на глаза, поэтому крупная дичь наверняка откочевала дальше на юг, в заросли кустарника и на каменистые равнины.

По горам, даже по четырем главным вершинам, было нетрудно совершать прогулки: трава там была низкая, как на лужайке, и в ней лишь изредка попадались валуны. Вдоль хребта тянулась узкая звериная тропа. Стоя лагерем в горах, я как-то утром поднялась туда и немного прошла по тропе, где недавно, судя по свежим следам и помету, брело стадо антилоп канн. Эти крупные мирные животные побывали на рассвете на краю хребта и вытянулись на тропе в длинную цепочку. Трудно себе представить, чтобы их привело туда что-либо еще, кроме желания взглянуть сверху на земли, лежащие внизу.

На моей ферме возделывался кофе. На такой высоте заниматься этой культурой не принято, и требовалось усиленно трудиться, чтобы получать урожай; разбогатеть на подобной ферме было невозможно. Но кофейная плантация – занятие, способное увлечь накрепко и навсегда, тем более что скучать на ней не приходится: мы всегда отставали и торопились наверстать упущенное время.

В этой дикой и необустроенной стране ухоженный и засаженный по всем правилам участок земли смотрится отменно. Позднее, когда я стала летать над Африкой и узнала, как выглядит моя ферма с высоты, я прониклась восхищением к собственной кофейной плантации, зеленоющей среди серо-оливковых просторов, и осознала, насколько импонирует человеческому

глазу строгая геометрия регулярных форм. Вся местность вокруг Найроби, особенно к северу от города, используется сходным образом; там проживают люди, постоянно размышляющие и ведущие беседы о посадке, подрезке, сборе кофе и даже ночами ломающие голову, как усовершенствовать свои кофейные предприятия.

Выращивание кофе – долгий труд. Все получается впоследствии совсем не так, как вы это себе представляете, когда в молодости, полные надежд, перетаскиваете под ливнем поддоны с блестящей от влаги кофейной рассадой из питомника, а потом наблюдаете, как ваши работники высаживают растения в вырытые во влажной земле аккуратные ямки; вам предстоит укрывать их ветками кустарника, ибо детство им положено проводить в темноте. Пройдет четыре или пять лет, прежде чем растения начнут плодоносить, а вы за это время познакомитесь с засухой, болезнями, местным сорняком, густо покрывающим плантацию, именуемым за вредность «дубинкой» и цепляющимся к платью и чулкам. Некоторые из кофейных деревьев с самого начала были посажены неверно, с погнутыми стержневыми корнями: они гибнут, как только зацветают. На одном акре плантации помещается чуть больше шестисот деревьев, а у меня было отведено под кофе шестьсот акров. Мои быки волокли окучники вверх и вниз, преодолевая по междурядьям в общей сложности многие тысячи миль в терпеливом ожидании поощрения.

Порой кофейная плантация выглядит очень красиво. В начале сезона дождей деревья зацветают. Это восхитительное зрелище: кажется, что на промокшую от ливней землю на площади в шестьсот акров опустилось белое облако. Цветки кофе обладают тонким, немного горьковатым запахом, напоминающим запах цветков терновника. Потом, когда все поле становится красным от созревших ягод, местные женщины со своими детьми, которых матери и все остальные называют просто Тото, приступают к уборке урожая, в чем им помогают мужчины; в телегах и тачках урожай переправляется на кофесушилку ниже по реке. Оборудование у нас всегда было несовершенным, но фабрику мы спроектировали и построили самостоятельно и очень ею гордились. Один раз она полностью сгорела, и нам пришлось строить ее заново. Огромная кофесушилка крутилась не переставая, перемешивая в своем стальном чреве кофейные зерна с рокотом, напоминающим рокот гальки на морском берегу. Иногда высохшие ягоды приходилось извлекать из сушилки глубокой ночью.

То была живописная картина: многочисленные керосиновые лампы, освещающие просторное помещение вместе с паутиной и кофейной шелухой и сияющие черные лица. В такие моменты трудно было не сравнить сарай сушилки, затерявшийся в непроглядной африканской ночи, со сверкающим бриллиантом в ухе эфиопа. Далее кофе вручную лутили, сортировали, ссыпали в мешки и зашивали седельной иглой.

Завершалось все ранним утром, еще до рассвета: лежа в кровати, я слышала, как тяжелые фургоны, нагруженные мешками с кофе и влекомые шестнадцатью быками каждый, начинают под крики погонщиков свой скрипучий путь к Найроби. Мне была приятна мысль, что небольшой подъем им предстояло преодолеть только в начале пути, а дальше дорога шла под уклон, ибо ферма лежала на тысячу футов выше города. Вечером я встречала процессию, возвращавшуюся назад; усталые быки из последних сил волокли пустые фургоны, подчиняясь выдохшимся Тото и утомленным погонщикам. Цель была достигнута: через день-другой кофе окажется на океанском берегу, а дальше нам только оставалось уповать на удачу на лондонской товарной бирже.

Общая площадь моих владений достигала шести тысяч акров, и кофейная плантация занимала меньшую их часть. На одном куске моих земель продолжал расти девственный лес, еще тысяча акров была отведена под участки арендаторов, которые сами они именовали шамба. Каждый из этих африканцев крестьянствовал с семьей на нескольких акрах земель белого хозяина и в качестве платы работал на него определенное число дней в году. Полагаю, что мои

арендаторы подходили к ситуации иначе: многие из них родились на ферме, как до них – их отцы, и скорее всего, рассматривали саму меня как могущественную арендаторшу их владений.

На их землях кипела более бойкая жизнь, чем на остальной ферме, которая сильно менялась от сезона к сезону. Сначала вытягивалась выше человеческого роста упругая кукуруза, после ее уборки созревали бобы, которые собирали и лутили женщины, чтобы потом сжечь прямо на борозде стебли и стручки, так что в определенные месяцы моя ферма курилась бесчисленными столбами дыма. Кикуйю выращивали также сладкий картофель, зелень которого стелется по земле, как выюн, превращаясь в плотный ковер, и многочисленные сорта крупных желтых и зеленых крапчатых тыкв.

Первое, что бросается в глаза при всякой прогулке по шамба кикуйю, – это задранный зад чернокожей старухи, ковыряющейся в земле и напоминающей при этом страуса, прячущего голову в песок. Каждая семья кикуйю занимает несколько маленьких островерхих круглых хижин и сараев; вся их жизнь протекает на пространстве между этими постройками, где земля утрамбована до состояния бетона. Здесь толкут кукурузу, доят коз, здесь носятся дети и куры. В полях сладкого картофеля вокруг арендаторских хижин я часто охотилась под вечер на пернатую дичь, внимая птичьим трелям из крон высоких деревьев, которые остались кое-где стоять среди шамба, напоминая о том, что когда-то здесь рос лес.

В дополнение к кофейным плантациям и арендаторским полям на моей ферме было две тысячи акров пастбищ. Под сильным ветром высокие травы ходили волнами, как в море; здесь маленькие пастушки-кикуйю пасли отцовских коров. В прохладный сезон они захватывали из хижин тлеющие угли в плетеных корзинках, что порой приводило к пожарам, уничтожавшим значительную часть травостоя. В засуху на пастбища фермы приходили зебры и канны.

Ближайшим городом был Найроби, лежащий на плоской равнине среди холмов. До него от нас было двенадцать миль. Там размещался губернатор, находились главные учреждения; оттуда велось управление страной.

В жизни любого человека обязательно играет большую роль какой-нибудь город. Неважно, какого вы о нем мнения – хорошего или дурного: он все равно вас притягивает. Таков закон умственной гравитации. Зарево в небе над городом, которое я могла наблюдать с некоторых точек фермы, наводило меня на будоражащие мысли, напоминая о больших городах Европы.

Когда я впервые появилась в Африке, там еще не было машин. Мы приезжали в Найроби верхом или пересаживались за шесть миль от города в экипаж, оставляя коней в конюшнях «Хайлэнд Транспорт». Тогда Найроби производил пестрое впечатление: наряду с нарядными каменными зданиями там громоздились целые кварталы трущоб из ржавого железа, где теснились и магазины, и учреждения, и жилые дома. Вдоль голых пыльных улиц стояли ряды эвкалиптов. Суд, департамент по делам африканцев, ветеринарная служба ютились в безобразных помещениях, так что я испытывала глубокое уважение к чиновникам, которым удавалось хоть что-то делать, работая в этой тесноте и пекле.

Но так или иначе Найроби был городом: здесь можно было сделать покупки, узнать новости, пообедать или поужинать в отеле, потанцевать в клубе. Это было место, полное жизни: оно кипело, как река, и росло, как ребенок, меняясь год от года. Стоило уехать надолго – в Европу или на охоту, как в городе появлялось что-нибудь новенькое: величественное здание губернаторской резиденции (внутри которой властвовала прохлада, имелись бальный зал и очаровательный сад) или новые вместительные гостиницы; проводились сельскохозяйственные ярмарки, выставки цветов; колониальный свет обсуждал очередную скоротечную мелодраму. Найроби как бы уговаривал всякого: «Пользуйся временем и мной вовсю. При всей моей хищной необузданности – не зевай!» В целом мы с Найроби достигли взаимопонимания; однажды, проезжая по городу, я подумала: «Без улиц Найроби не существует мира».

В сравнении с европейским городом кварталы африканцев и цветных иммигрантов занимали гораздо большую площадь. Район суахили, который приходилось пересекать, направляясь в клуб «Мутаига», пользовался дурной репутацией, но, при своей замусоренности, был оживленным и ярким местом, где в любое время происходило что-нибудь завлекательное. Главным строительным материалом здесь были расплющенные канистры из-под керосина разной степени проржавленности, напоминающие коралловую колонию, и весь этот район провозглашал своим грохотом и многоцветьем победное наступление цивилизации.

Район, где обитали сомалийцы, располагался на некотором удалении от Найроби, что объяснялось, думаю, затворничеством, в котором они предпочитают содержать своих женщин. При мне там жили несколько молоденьких сомалийских красавиц, имена которых были известны всему городу, избравших резиденцией окрестности базара и водивших за нос всю городскую полицию, проявляя находчивость и успешно пользуясь своим непобедимым очарованием. Однако честных сомалиек встретить в городе было невозможно. Поселение сомалийцев лежало, открытое всем ветрам, пыльное, полностью лишенное тени; видимо, оно напоминало сомалийцам их родные пустыни.

Европейцы, живущие подолгу, иногда на протяжении нескольких поколений на одном месте, не в состоянии постичь, как этим кочевникам удается проявлять подобное безразличие ко всему, что окружает их жилища. Дома сомалийцев разбросаны как попало на выжженной земле и выглядят так, словно их наспех сколотили длинными гвоздями не больше, чем на неделю. Велико же удивление, которое испытывает любой гость, обнаруживая внутри такой лачуги чистоту, свежесть, аромат арабских благовоний, мягкие ковры и подвески, сосуды из бронзы и серебра, мечи благородного изгиба в ножнах с инкрустациями из слоновой кости. Сомалийки ведут себя с достоинством, но в то же время учтиво, проявляют гостеприимство и жизнерадостность, их смех подобен звону серебряных колокольчиков.

Я чувствовала себя в сомалийской деревне, как дома, благодаря моему слуге-сомалийцу Фараху Адену, с которым была неразлучна на протяжении всего своего пребывания в Африке. Я неоднократно посещала их праздники и лучше всего запомнила большую сомалийскую свадьбу – великолепное традиционное действо. В качестве почетной гостьи я была допущена в покои новобрачной, где и стены, и ложе были убраны мерцающим старым шитьем, а сама юная темноглазая невеста сидела прямо и неподвижно, опустив тяжелые ресницы, напоминая исходящим от нее золотым сиянием маршалский жезл.

Сомалийцы вели по всей стране торговлю скотом и всем прочим. Для перевозки своих товаров они пользовались маленькими серыми осликами и верблюдами – величественными, неприхотливыми созданиями пустыни, не подверженными земным напастям, как кактусы и сама страна Сомали.

Сомалийцы навлекают на самих себя беды своими свирепыми племенными распрями. Их чувства и рассуждения по этой части отличаются от соображений всех остальных людей. Мой Фарах принадлежал к племени хабр юнис, поэтому мне приходилось принимать сторону его народа в многочисленных межплеменных дрязгах.

Однажды в поселении сомалийцев произошла нешуточная стычка между представителями двух племен – дулба хантис и хабр чаоло, вылившаяся в ружейную пальбу, пожары и гибель то ли десяти, то ли двенадцати человек. Спокойствие было восстановлено только благодаря вмешательству правительственных сил. У Фараха был тогда молодой друг-соплеменник по имени Саид, часто навещавшийся к нему на ферму, очень милый молодой человек. Меня страшно расстроил рассказ слуг о том, что Саид находился в гостях у одной семьи из племени хабр чаоло, когда пробежавший мимо представитель племени дулба хантис дважды выпалил в дыру в стене дома и попал Саиду в ногу. Я принялась было утешать Фараха, только что узнавшего о беде своего друга, но тот мстительно вскричал: «Что? Саид? Поделом ему! Нечего было пить чай в доме хабр чаоло!»

В суетливых африканских кварталах Найроби, окружавших базар, преобладали индусы. Удачливые индийские торговцы возводили себе в ближайших пригородах виллы, называвшиеся именами их владельцев: Джеванджи, Сулейман Вирджи, Алладин Висрам. Все они обязательно строили на виллах каменные лестницы, балюстрады, ставили массивные вазы, но все это было не очень искусно вырезано из хрупкого местного камня и больше походило на недолговечные детские шалости. Индусы устраивали в своих садах званые чаепития, подавая индийские сладости. Это были умные, учтивые люди, повидавшие свет. Однако африканские индусы – прежде всего хваткие торговцы, поэтому, общаясь с любым из них, никогда не знаешь наверняка, с кем имеешь дело – просто с любезным человеком или с главой торгового дома. Я бывала в доме Сулеймана Вирджи, поэтому, увидев однажды над его складами приспущенный флаг, спросила у Фараха:

- Неужели Сулейман Вирджи умер?
- Наполовину умер, – ответил мне Фарах.
- Разве флаг приспускают, когда человек умер только наполовину?
- Умер Сулейман, – последовал ответ Фараха, – но не Вирджи.

До того как взять на себя управление фермой, я была привержена охоте и часто принимала участие в сафари. Потом, став фермершей, я отложила ружья.

Соседями фермы были маасаи – кочевое скотоводческое племя, обитавшее за рекой. Время от времени их делегаты являлись в мой дом с жалобой на льва, задирающего их коров, и с просьбой прикончить докучливого зверя, что я делала, если это было возможно. Иногда по субботам я, сопровождаемая радостной свитой из малолетних кикуйю, спускалась в долины Орунджи подстрелить парочку зебр на обед моим работникам. Непосредственно на ферме я стреляла птицу, в частности, очень вкусных цесарок. Но потом настало время, когда на долгие годы я отказалась от охоты.

Тем не менее на ферме то и дело заводились разговоры о сафари, в которых нам довелось побывать. Места, где приходилось разбивать лагерь, надолго остаются в памяти, словно ты там долго прожил. Колея, оставленная колесом фургона в густой траве, помнится долго, как черты лица хорошего друга.

Однажды во время сафари я видела стадо из ста двадцати девяти буйволов, вышедших по одному из утреннего тумана под медные небеса; казалось, эти темные, тяжеловесные, словно чугунные, существа с могучими горизонтальными рогами не приближаются ко мне, а создаются из пустоты перед моим взором и тут же прекращают существование. Видела я и стадо слонов, маршировавших сквозь девственный лес, где солнечный свет разбивается на струйки и пятна; слоны шли вперед с такой решительностью, словно торопились поспеть на встречу где-то на конце света. Я невольно сравнила их процессию с увеличенной до гигантских размеров вышивкой на краю древнего бесценного персидского ковра, где доминируют зеленые, желтые и бурые оттенки.

Неоднократно доводилось мне наблюдать за шествием по равнине жирафов с их причудливой, ни на что не похожей, какой-то растительной грацией, вынуждающей сравнивать их с семейством редких длинностебельных цветков-гигантов крапчатой окраски, почему-то снявшихся с места. Однажды я шла по пятам за парочкой носорогов, совершавших утреннюю прогулку и фыркавших от жгучей рассветной прохлады; эти гиганты походили на два корявых валуна, добродушно катящихся по равнине и наслаждающихся жизнью. Видела я и царя зверей льва, пересекавшего перед рассветом, при затухающей луне, серую равнину, оставляя за собой волнистый след в траве: его морда была по самые уши выпачкана кровью после очередного убийства; наблюдала я царственного зверя и во время полуденной дремы, когда он мирно отдыхал в кругу своего семейства на траве в колышущейся, похожей на легкую сеть тени раскидистой акации посреди его монаршего парка под названием «Африка».

Все это бывало приятно вспоминать, чтобы разогнать фермерскую скуку. К тому же крупные звери по-прежнему населяли эти места – свой родной край: при желании я всегда могла ими полюбоваться. Их близость создавала на ферме особую, сияющую атмосферу. Фарах, хоть и проникнувшийся постепенно искренним интересом к делам фермы, жил в надежде на новые охотничьи экспедиции, не говоря уже об африканцах, прислуживавших мне во время сафари.

Пребывание наедине с дикой природой научило меня воздерживаться от резких движений. Существа, с которыми имеешь там дело, отличаются робостью и зоркостью и обладают настоящим талантом уклоняться от встречи с человеком. Ни одно домашнее животное не может соблюдать столь полную неподвижность. Цивилизованные люди утратили вкус к неподвижности, и им следует брать уроки у дикой природы, пока она терпит их присутствие. Искусство бесшумного, без малейших рывков передвижения – первое, чем должен овладеть охотник, тем более тот, чьим оружием является фотокамера. Охотники не могут поступать здесь, как им вздумается: им приходится принаравливаться к ветру, краскам, запахам местности, всему ее ритму. Когда местность приходит в движение, охотник вынужден следовать ему вместе со всей природой.

Тот, кто уловил ритм Африки, понимает, что им насыщена вся ее музыка. Уроки, преподнесенные мне дикими зверями, помогали моему общению с местными жителями.

Любовь к женщине и женственности – свойство всех мужчин, любовь к мужчине и мужественности отличает любую женщину; точно так же северянам свойственно равнодушное отношение к южным странам и народам. Норманны наверняка влюбились в чужеземные страны, сперва во Францию, потом в Англию. Милорды старых времен, фигурирующие в истории и в литературе восемнадцатого века, только и делают, что путешествуют по Италии, Греции, Испании. Не имея в своей натуре ни капли южного темперамента, они не могут оторваться от явлений, коренным образом отличающихся от привычных им. Прежние немецкие и скандинавские художники, философы и поэты, впервые оказавшись во Флоренции или в Риме, падали на колени и возносили хвалы Югу.

При всей своей нетерпеливости эти люди оказались способны на необъяснимое, лишенное логики терпение к чуждому миру. Настоящий мужчина никогда не разозлится на женщину, а женщины никогда не презирают и не отвергнут мужчину, пока он остается таковым; точно так же резкие рыжеволосые пришельцы с севера оказались способны на долготерпение к тропическим странам и народам. Своей стране и своим землякам они не прощают ошибок, зато засушливость африканских нагорий, чреватая солнечным ударом, чума, косящая их стада, неумелость их слуг-аборигенов – все это принимается смиренно и с пониманием. Сам их индивидуализм отступает от осознания многочисленности вариантов, которыми чревато общение столь разных людей. Выходцы из южной Европы и люди со смешанной кровью не обладают этим качеством, проклинают или высмеивают его. Так слишком суровые мужчины высмеивают вздыхающего любовника, а женщины-рационалистки, у которых не хватает терпения на мужчин, гневно осуждают Гризельду.

Что до меня, то с первых же недель моего пребывания в Африке я почувствовала огромную приязнь к африканцам. Это было сильное чувство, относившееся ко всем возрастам и к обоим полам. Открытие чернокожей расы стало для меня чудесным расширением мира. Похожее происходит с человеком, отличающимся врожденной любовью к животным, но выросшим вне контакта с ними и соприкоснувшимся с ними уже совсем взрослым, или с тем, кто, инстинктивно стремясь в леса, впервые вошел под их полог двадцатилетним, или с тем, кто, обладая музыкальным слухом, сначала возмужал, а уж потом услышал музыку: все они – мои духовные братья. Повстречавшись с африканцами, я услышала, как в рутине моей повседневности зазвучал могучий оркестр.

Мой отец служил офицером в датской и во французской армиях. Будучи молодым лейтенантом в Дюпелле, он писал домой: «Строевой офицер – трудная, но прекрасная работа.

Любовь к войне – такая же страсть, как любая другая: солдат ты любишь так же, как женщин, – до безумия, и одна любовь, как известно девушкам, не исключает другую. Но любовь к женщинам находит выражение в чувстве всего к одной, пускай потом то же чувство ты будешь испытывать к другой, тогда как любовь к солдатам – это любовь к целому полку, который ты, будь на то твоя воля, расширял бы до бесконечности». То же самое я могла бы сказать о себе и об африканцах.

Понять африканцев было нелегкой задачей. Они обладали тонким слухом и умели исчезать, как дым; напуганные вами, они за долю секунды уходили в собственный мир, подобно диким животным, которые при любом резком движении пропадают из виду, словно их и не было рядом. От африканца невозможно добиться прямого ответа, пока вы не познакомитесь с ним самым тесным образом. Даже на прямой вопрос: «Сколько у тебя коров?» он умудрялся отвечать уклончиво: «Столько, сколько я говорил вчера». Европейцы не терпят подобных ответов, однако и африканцы, видимо, не терпят подобных вопросов. Если оказывать на них давление, пытаясь добиться объяснения их поведения, они отступают, сколько хватает сил, а потом прибегают к фантастическому и гротескному юмору, окончательно сбивающему вас с толку. Даже малолетние детишки в подобных ситуациях обнаруживают смекалку давних игроков в покер, которые не возражают, когда вы переоцениваете или недооцениваете карты у них на руках, лишь бы вы не знали в точности, что это за карты. Когда мы всерьез вламывались в жизнь африканцев, они вели себя, как муравьи, в чей муравейник воткнули палку: исправляли повреждение с неустанной энергией, поспешно и беззвучно, словно заматавая следы непристойного поступка.

Мы не могли знать, даже не представляли себе, какие опасности, с их точки зрения, мы им сулим. Лично я полагаю, что они боялись нас, скорее, так, как мы боимся внезапных пугающих звуков, а не страдания или гибели. Впрочем, утверждать здесь что-либо трудно, ибо африканцы – большие мастера мимики.

Среди шамба можно поутру набрести на куропатку, которая станет улепетывать от вас со всех ног, притворяясь, будто у нее сломано крыло и она боится, что ее схватят собаки. На самом деле ни крыло, ни собаки ни при чем: она может взмыть в воздух в любой момент, просто где-то поблизости прячется ее выводок, и она совершает отвлекающий маневр. Подобно этой сообразительной куропатке, африканцы, возможно, делают вид, что боятся нас, скрывая какой-то более глубокий страх, о котором мы даже не догадываемся. Не исключено, что их поведение – своеобразный розыгрыш, и эти робкие люди на самом деле нисколько нас не боятся.

Африканцы в гораздо меньшей степени, чем белые, ощущают рискованность жизни. Иногда во время сафари или на ферме в моменты максимального напряжения я встречалась глазами с моими чернокожими спутниками и, несмотря на расстояние, чувствовала, что они поражены, насколько сильно я ощущаю риск. Это навело меня на мысль, что они несравнимо сильнее нас слиты с течением жизни, подобно рыбам, живущим в водной толще и не способным понять нашего страха утонуть. Эта уверенность, родственная умению плавать, присутствовала в них, по-моему, потому, что они сохранили понятие, утерянное еще нашими праотцами. Африка лучше, чем любой другой континент, научит вас, что Бог и дьявол едины, что это единство существует от веку; африканцы никогда ничего не путают и воспринимают сущность бытия в незамутненном виде.

Во время сафари и в процессе работы на ферме мое знакомство с африканцами постепенно перерастало в тесные, товарищеские отношения. Мы были добрыми друзьями. Я смирилась с тем фактом, что никогда до конца не узнаю и не пойму их, а они знают меня как облупленную и заранее угадывают, какие решения я приму, когда я еще ни на чем не остановилась.

Одно время у меня была маленькая ферма в Гиль-Гиль, где мне приходилось жить в палатке; я путешествовала между Гиль-Гиль и Нгонг на поезде. В Гиль-Гиль дождь мог заставить меня принять мгновенное решение ехать в Нгонг. Но когда я доезжала до Кикуйю –

нашей железнодорожной станции, откуда до фермы еще оставалось десять миль, там меня обязательно поджидал человек с фермы и мул. На мой вопрос, как они догадались о моем возвращении, они отводили глаза или испытывали смущение, словно им было страшно или скучно; точно так же реагировали бы мы с вами, если бы глухой потребовал объяснить ему словами симфонию.

Когда же африканцы не ожидали от нас резких движений и внезапных звуков, то беседовали с нами с гораздо большей открытостью, чем беседуют друг с другом европейцы. Положиться на их правдивость было невозможно, зато искренности им было не занимать. В мире местных жителей большое значение имеет доброе имя, иначе именуемое престижем. Наступал момент, когда вам выносилось нечто вроде коллективного приговора, против которого уже никто не поднимет голоса.

Порой жизнь на ферме становилась очень одинокой в вечернем безмолвии, когда истекли одна за другой бесчисленные минуты и меня как будто в том же самом ритме покидала по капле жизнь, настолько мне не хватало белого собеседника. Однако я никогда не переставала чувствовать безмолвное присутствие африканцев, чье существование протекало параллельно моему, но в другой плоскости. Наши души обменивались звучным эхо.

Африканцы представляют собой плоть и кровь Африки. Высокий потухший вулкан Лонгонот, взметнувшийся над рифтовой долиной, раскидистые деревья мимозы вдоль реки, слоны и жирафы – это еще не Африка; Африка – это ее уроженцы, крохотные фигурки на бескрайнем ландшафте. Все они – различные проявления одной и той же идеи, вариации на одну тему. Это не однородное бурление разнородных атомов, а разнородное существование однотипных существ, подобно тому, как желудь и дубовый лист относятся к одному и тому же дубу. Мы своими сапогами и своей постоянной спешкой повергаем пейзаж в трепет, африканцы же живут в согласии с ним, поэтому когда эти рослые, стройные, темнокожие и темноглазые люди пускаются в путь – а делают они это только гуськом, поэтому даже основные африканские транспортные артерии представляют собой узкие пешеходные тропы, – обрабатывают землю, пасут стада, танцуют свои красочные танцы или что-то вам рассказывают, то это странствует, отплясывает и развлекает вас сама Африка. Приходят на ум слова поэта:

Полон достоинства местный,
Пришлый же скучен и вял.

Колония претерпевает изменения, и после моего отъезда там многое стало по-другому. Когда я с максимальной точностью описываю, как мне жилось на ферме, вообще в стране, как складывались мои отношения с жителями равнин и лесов, то питаю надежду, что это может иметь кое-какой исторический интерес.

Африканский ребенок

Каманте звался маленький кикуйю, сынишка одного из моих арендаторов. Я хорошо знала детей своих арендаторов, потому что все они работали на ферме, в свободное время болтались вокруг дома, приглядывая за своими козами на лужайках и надеясь на какие-нибудь интересные происшествия. С мальчиком Каманте вышло иначе: прежде чем я впервые с ним повстречалась, минул не один год; наверное, он до того вел затворническое существование, как хворый зверек.

Я столкнулась с ним в первый раз, когда ехала по полю, где он пас коз своей семьи. Более жалкого зрелища невозможно себе представить. При огромной голове у него было крохотное истощенное тельце, локти и колени торчали на конечностях, как сучки на палках, обе ноги от бедер до самых ступней были покрыты глубокими язвами. На бескрайнем пространстве поля он казался особенно тщедушным, и меня поразила подобная концентрация страдания. Я остановилась и попыталась с ним заговорить, но он не отвечал и вряд ли вообще меня замечал. Глаза на его плоском и изможденном лице глядели мертво, словно принадлежали труп. Судя по его виду, ему оставалось прожить от силы несколько недель, и я машинально задрала голову, ожидая увидеть в раскаленном воздухе кружащих над ним стервятников, которые всегда загодя чуют мертвечину. Я велела ему прийти ко мне в дом следующим утром и была полна решимости попробовать его излечить.

Почти каждое утро, с девяти до десяти часов, я занималась врачеванием и, подобно всякому добросовестному лекарю, имела широкий круг пациентов, из которых от двух до дюжины людей ходили в хронических больных.

Кикуйю всегда готовы к непредвиденному и имеют привычку к неожиданностям. Этим они радикально отличаются от белых, которые в своем большинстве стремятся застраховаться от неведомого и от поворотов судьбы. Африканец находится в дружеских отношениях с роком, ибо постоянно пребывает в его руках; рок для него в некотором смысле – родной дом, настолько он привычен к темноте, царящей у него в хижине, и к гниению, которое всегда может поразить его корни. Он спокойно ждет любых перемен в жизни. Среди качеств, которые он ожидал бы увидеть воплощенными в хозяине, враче или Боге, на одном из первых мест стоит, на мой взгляд, воображение. Видимо, такой вкусовой ориентацией объясняется представление обитателей Африки и Аравии о халифе Гарун-аль-Рашиде как об идеальном правителе: ведь он всегда всем преподносил неожиданности. Когда африканцы рассуждают о Боге, то их слова кажутся навеянными «Тысячью и одной ночью» или последними главами книги Иова: на них производят неизгладимое впечатление безграничные возможности человеческого воображения.

Именно этой особенности своего народа я была обязана моей популярностью, даже славой врача. В первое мое плавание к африканскому берегу со мной на борту находился один крупный немецкий ученый, который направлялся туда, кажется, в двадцать третий раз с целью опробовать средства излечения от сонной болезни и везший с собой добрую сотню крыс и морских свинок. По его словам, основной проблемой, с которой он сталкивался, работая с пациентами-африканцами, было не отсутствие в них отваги – они обычно легко соглашались на болезненное обращение и на операцию, – а их глубокая неприязнь ко всякой регулярности, к повторному лечению, к любой системе вообще. Этого крупный немецкий доктор понять, конечно, не мог. Но когда я сама как следует познакомилась с африканцами, мне больше всего понравилось в них именно это свойство. Они обладали подлинной смелостью: их непритворная любовь к опасностям представляла собой истинный ответ создания из плоти и крови на оповещение о его грядущей судьбе, ответ земли на глас небес. Иногда меня посещала мысль,

что в глубине души они больше всего боятся нашего педантизма. Попав в руки педанта, они утасуют от тоски.

Пациенты ждали своей очереди на террасе перед домом. Кого тут только не было: превратившиеся в скелеты старики, сотрясаемые кашлем, со слезящимися глазами, молодые драчуны с фонарями на лице и рассеченными губами, матери с захворавшими младенцами, виснувшими у них на шеях, как увядшие цветы. Мне нередко приходилось иметь дело с сильными ожогами, потому что ночь кикуйю проводят вокруг костров, разведенных посреди хижины, и горящие дрова или угли часто сползают прямо на спящих. Исчерпав все свои запасы медикаментов, я часто обнаруживала, что неплохим средством заживления ожогов является мед.

На террасе царила оживленная, наэлектризованная атмосфера, как в европейском казино. Негромкая беседа при моем появлении стихала, но то была тишина, чреватая всевозможными неожиданностями. Наступал момент, когда могло произойти все что угодно. Все ждали, чтобы я самостоятельно выбрала первого пациента.

Я имела очень ограниченные представления о врачевании, так как окончила всего лишь курс неотложной помощи. Однако моя репутация врача была сцементирована несколькими удачными исцелениями, и сделанные мною катастрофические ошибки уже не могли ее поколебать.

Если бы я могла гарантировать всем пациентам полное выздоровление, то число их, возможно, сократилось бы. Я добились бы престижа профессионалки, как один врач-чудотворец из Валайи, но сохранилась бы у них уверенность, что мне помогает Бог? Ведь представлению о Боге их учили многолетние засухи, ливинный рык, доносившийся до их хижин по ночам, разгуливавшие неподалеку от хижин с младенцами, оставленными на весь день родителями, леопарды, нашествия непонятно откуда бравшейся саранчи, которая не оставляла после себя на поле ни единой былинки. С Богом их знакомили также мгновения нечаянного счастья, когда облако саранчи пролетало над их кукурузными полями, не опускаясь на землю, когда по весне проливались ранние обильные дожди, из-за которых все вокруг покрывалось цветами и поспевал тучный урожай. Поэтому они не испытывали большого доверия к врачу-чудотворцу из Валайи, когда речь заходила о действительно важных вещах.

К моему удивлению, на следующее же утро после нашей встречи Каманте явился на прием. Он стоял в сторонке от остальных трех-четырех больных и, несмотря на полумертвое выражение лица, старался держать спину прямо, словно его еще что-то связывало с жизнью и он решился на отчаянную попытку продлить ее хотя бы немного.

Со временем он проявил себя прекрасным пациентом. Приходил тогда, когда ему было велено, и проявлял способность вести счет времени, безошибочно являясь через три дня на четвертый, чего обычно не приходилось ждать от его соплеменников. Он переносил болезненное лечение язв с такой стойкостью, что я не верила своим глазам. Все это превращало его в образец для подражания, но я не выставяла его таковым, потому что в то же самое время он причинял мне немало душевных страданий.

Мне крайне редко приходилось встречаться до этого со столь же дикими натурами, настолько отгороженными от мира и по собственной твердой воле невосприимчивыми к окружающей жизни. Задавая ему вопрос, я могла добиться от него ответа, но он никогда не произносил ни единого слова по собственному желанию и избегал на меня смотреть. Он был напроочь лишен жалости и с презрительным превосходством реагировал на слезы других больных детей, когда их обмывали или перевязывали, хотя не удостоивал взглядом и их. У него не было желания вступать в какой-либо контакт с окружающим миром, так как он уже успел обжечься и познать жестокость. Силой духа перед лицом боли он походил на старого воина. Старого воина уже ничто, даже самое ужасное, не может удивить: испытания и философия жизни приготвили его к худшему.

Каманте был величественен в своей отрешенности. В его присутствии я вспоминала символ веры Прометея: «Я неотделим от боли, как ты – от ненависти. Рви меня на части: мне все равно. Делай свое дело: ведь ты всемогущ». Однако такое отношение к происходящему со стороны столь маленького создания заставляло сжиматься мое сердце. Что подумает Господь, размышляла я, когда перед Ним предстанет такое очерствевшее маленькое существо?

Мне хорошо запомнился момент, когда он впервые посмотрел на меня и соизволил по собственному желанию ко мне обратиться. К тому времени мы уже давно были знакомы; я отказалась от прежнего метода лечения и испробовала новый – горячую припарку, состав которой выудила из книг. В своем рвении достичь совершенства я переусердствовала и сделала припарку слишком обжигающей. Когда я приложила компресс к его ноге и стала ее бинтовать, Каманте произнес:

– Мсабу.

Это слово сопровождалось выразительным взглядом. Африканцы прибегают к этому индийскому словечку, когда обращаются к белым женщинам, но произносят его по-своему, превращая в слово, звучащее вполне по-африкански. В устах Каманте это была просьба о помощи и предостережение: так предостерегают верного друга, когда он делает что-то неподобающее. Потом, размышляя об этом событии, я исполнилась надежды. У меня уже возникли определенные амбиции как у врача, и мне было стыдно, что я приложила к его ноге такой горячий компресс, но одновременно и радостно, потому что появился первый проблеск взаимопонимания между мною и этим диким ребенком. Испытанный страдалец, ничего, кроме страданий, не ожидавший от жизни, он тем не менее не ждал от меня такого обращения.

Что касается состояния его здоровья, то здесь перспектив не просматривалось. Я очень долго промывала и перевязывала ему ноги, но его болезнь была сильнее меня. Иногда ему становилось лучше, но потом язвы открывались в новых местах. В конце концов я приняла решение отвезти его в больницу шотландской миссии.

Это мое решение было достаточно фатальным, и при всех возможностях, которые оно открывало по части произведения на Каманте впечатления, он не захотел ехать. Опыт и философия научили его не слишком много протестовать против чего-либо, но когда я привезла его в миссию и отдала в больницу – длинное чужое здание, в совершенно чуждые, загадочные для него условия, он содрогнулся.

Миссия Шотландской церкви находилась по соседству с моей фермой, в двенадцати милях к северо-западу, и располагалась футов на пятьсот выше; в десяти милях к востоку имелась также французская католическая миссия: она помещалась на равнине и лежала, наоборот, ниже фермы на пятьсот футов. Я не симпатизировала ни одной из миссий, но дружила с обеими и сожалела, что они враждуют.

Святые отцы-французы были моими лучшими друзьями. Утром по воскресеньям я ездила с Фарахом к мессе – отчасти чтобы попрактиковаться во французском языке, отчасти потому, что к миссии вела живописная дорога. Она шла через старые посадки австралийской акации, сделанные лесным ведомством, и сильный хвойный аромат, источаемый этими деревьями, было особенно приятно вдыхать поутру.

Я поражаюсь, насколько римско-католической церкви удастся повсюду, где она ни появляется, насаждать свойственную ей атмосферу. Святые отцы сами спроектировали и выстроили с помощью местной паствы свою церковь и имели основания ею гордиться. Церковь получилась большая, изящная, серая, с колокольней; ее окружал просторный двор с террасами и лестницами, а вокруг простиралась кофейная плантация, старейшая в колонии и процветающая благодаря правильному хозяйствованию. Во дворе имелась также трапезная с арками и помещения монастыря, а еще школа; ниже по реке стояла мельница. Чтобы достигнуть церкви, надо было переехать арочный мост. Все сооружения были сложены из серого камня и смот-

релись на фоне местного пейзажа аккуратно и одновременно внушительно, как где-нибудь в южном кантоне Швейцарии или на севере Италии.

Дружелюбные святые отцы по окончании мессы приглашали меня на рюмочку вина в свою просторную и прохладную трапезную; там я с восхищением внимала их рассказам и удивлялась их осведомленности о событиях в колонии, даже в самых дальних ее уголках. Продолжая учтивый и приятный разговор, они умудрялись вытягивать из собеседника любые новости, носителем коих он мог являться, напоминая при этом стайку мохнатых бурых пчел – все они носили окладистые бороды, – виснувших на цветке и охочих до меда.

При всем своем интересе к жизни колонии они оставались изгнанниками в типично французском духе, с радостью и смирением выполняющими некое высочайшее и совершенно загадочное для непосвященных повеление. Чувствовалось, что не будь этой неведомой другим воли, здесь не оказалось бы ни их, ни этой церкви из серого камня с высокой колокольней, ни аркады, ни школы, ни аккуратной плантации, ни миссии вообще. Как только им выйдет помилование, они с радостью устремятся назад, в Париж, перестав интересоваться кенийскими делами.

Фарах, следивший за лошадьми, пока я проводила время в церкви, а потом в трапезной, на обратном пути не мог не замечать моего приподнятого настроения. Сам он был праведным магометанином и не прикасался к спиртному, но считал мессу и вино уважаемыми обрядами моей религии.

Иногда святые отцы-французы садились на мопеды и навевались ко мне на ферму, где вкушали обед, декламируя на память басни Лафонтена и давая мне советы по части работ на кофейной плантации.

С шотландской миссией я была знакома хуже. С их горы открывался замечательный вид на всю окружающую местность кикуйю, но сама миссия производила на меня впечатление какой-то слепоты. Шотландская церковь очень старалась обрядить африканцев в европейские костюмы, что не было тем полезно ни в каком отношении. Зато в этой миссии была очень хорошая больница, главный врач которой, доктор Артур, филантроп и умница, взял надо мной шефство. В больнице спасли жизнь многим людям с моей фермы.

Каманте продержали в шотландской миссии целых три месяца. За все это время я виделась с ним всего один раз. Я проезжала мимо миссии, направляясь на железнодорожную станцию Кикуйю: дорога туда идет мимо территории больницы. Внезапно я заметила Каманте: он стоял один, не присоединяясь к кучке выздоравливающих. К этому времени он настолько поправился, что уже мог бегать. Увидев меня, он подошел к забору и побежал вдоль него, провожая меня. Он трусил со своей стороны забора, как жеребенок в загоне, и не сводил глаз с моей лошади, но так ничего и не изрек. Там, где кончалась территория больницы, он был вынужден остановиться. Я поскакала дальше, а потом оглянулась. Он стоял неподвижно, задрав голову и напряженно глядя мне вслед, в точности как жеребенок, провожающий вас взглядом. Я пару раз помахала ему рукой; сперва он не ответил, потом вдруг поднял руку, как семафор, и тут же ее опустил, чтобы больше не поднимать.

Каманте снова появился в моем доме пасхальным утром и протянул мне письмо из больницы, в котором говорилось, что он поправился, скорее всего, окончательно. Наверное, он знал, что сказано в письме, потому что внимательно наблюдал за выражением моего лица, пока я читала послание, хотя и не желал его обсуждать, так как его ум был занят более важными вещами. Каманте всегда отличало собранное, полное сдержанного достоинства поведение, к которому на сей раз примешивалось плохо скрываемое торжество.

Все африканцы привержены драматическим эффектам. Каманте тщательно забинтовал себе ноги до колен, приготовив мне сюрприз. Не вызвало сомнений, что важность момента он усматривает не в своей удаче, а в том удовольствии, которое собирался мне доставить. Он, видимо, помнил, как меня огорчала моя неспособность его вылечить, и понимал, что успех

больничного лечения равен чуду. Он невыносимо медленно размотал бинты, и моему взору предстали здоровые гладкие ноги с чуть заметными рубцами.

Сполна насладившись в своей величественной манере моим изумлением и восторгом, он усугубил важность момента заявлением, что сделался христианином.

– Я теперь такой же, как ты, – сказал он и добавил, что неплохо было бы получить от меня рупию по случаю годовщины воскресения Христа.

Затем он отправился к своей родне. Его мать была вдовой и жила на дальнем конце фермы. Судя по ее дальнейшим рассказам, сын в тот день отступил от своих привычек и выложил ей все свои впечатления о чужом народе и об обращении с ним в больнице. Побыв в материнской хижине, он вернулся ко мне, словно уже не сомневался, что его место – рядом со мной. С тех пор он прислуживал мне, пока я не покинула его страну, то есть на протяжении двенадцати лет.

При первой встрече Каманте можно было принять за шестилетнего ребенка, однако у него был брат, выглядевший на восемь лет; оба соглашались, что Каманте – старший. Видимо, у него случилась задержка роста, вызванная длительной хворью. На самом деле ему было тогда лет девять. С тех пор он вытянулся, но все равно походил на карлика или уродца, хотя нельзя было толком сказать, что конкретно делало его таким. Со временем его заостренное личико округлилось, он без труда ходил и вообще двигался, и лично я даже считала его миловидным, хотя, видимо, была пристрастна, так как приложила руку к изменению его облика. Ноги у него навсегда остались тоненькими, как спички.

Это была фантастическая фигура: глядя на него, хотелось то смеяться, то плакать. Подправив лишь самую малость, его можно было бы посадить среди горгулий на карниз собора Нотр-Дам в Париже. При этом в нем оставался свет жизни; на полотне живописца он оказался бы светлым пятном. К тому же он придавал моему дому живописности. Каманте никогда не отличался здравым рассудком, вернее, человека с таким поведением, но с белой кожей, называли бы завзятым эксцентриком.

Ему была свойственна задумчивость. Видимо, долгие годы страданий приучили его к размышлениям и к собственным выводам по любому поводу. Он был полностью погружен в свою жизнь и проявлял крайнюю нелюдимость. Даже делая то же самое, что остальные люди, он умудрялся делать это по-своему.

Я завела у себя на ферме вечернюю школу, в которой преподавал африканец. Учителя приходили ко мне из миссий, и как-то раз их собралось целых трое: один католик и по приверженцу англиканской и шотландской церкви. Образование африканцев построено в стране на религиозном фундаменте: насколько мне известно, на суахили переведена только Библия и псалмы. Пока я жила в Африке, меня все время подмывало заняться переводом басен Эзопа, но у меня так и не нашлось на это времени. Но школа все равно оставалась моим любимым уголком на ферме, центром нашей духовной жизни, и я провела немало приятных вечерних часов в длинном старом складском помещении, отведенном под класс.

Каманте сопровождал меня и туда, однако не подсаживался к детям за парты, а стоял в сторонке, словно сознательно сопротивляясь наукам и предпочитая простое присутствие. Зато оказавшись один в кухне, он часто принимался медленно выписывать по памяти буквы и цифры, увиденные на школьной доске. Вряд ли он смог бы учиться, как все, даже если захотел бы: на заре жизни в нем произошел какой-то перелом, и теперь для него было естественным противоестественное состояние. Каманте признавал свою особенность и относился к ней с высокомерием урожденного карлика, который, видя, что отличается от всех остальных, считает уродами их, а не себя.

Каманте умел обращаться с деньгами: он мало тратил и часто заключал выгодные сделки по части коз с соплеменниками-кикуйю. Он женился совсем молодым, а брак у кикуйю – мероприятие накладное. Тем не менее он любил пофилософствовать – оригинально и с умом –

насчет бессмысленности денег. Он относился по-своему к жизни вообще: умея жить, он оставался о жизни невысокого мнения.

Восхищаться чем-либо он не умел. Он признавал сообразительность за животными, но за все время нашего знакомства всего один-единственный раз одобрительно высказался о человеке – молодой сомалийке, которая впоследствии поселилась на ферме. У него была привычка тихонько усмехаться, проявлявшаяся при любых обстоятельствах, но особенно при встрече с самоуверенными и напыщенными субъектами. Все африканцы наделены природной хитринкой и радуются, когда что-то идет не так, чего европейцы совершенно не выносят. Каманте довел это свойство до совершенства, дополнив его самоиронией: собственные неудачи доставляли ему не меньше удовольствия, чем оплошности посторонних.

Аналогичное умонастроение я усматривала у старых африканок, прожаренных бесчисленными кострами, мятых судьбой и умеющих видеть в ней иронию и приветствовать ее удары, как дружеское похлопывание близкого человека. У себя на ферме я поручала боям¹ раздавать воскресным утром нюхательный табак чернокожим старухам, которые по этому случаю превращали двор в подобие старого птичьего загона; в окно моей спальни долетало их негромкое карканье – африканцы редко повышают голос.

Как-то раз их обычная тихая беседа взорвалась хохотом. Видимо, случилось что-то невообразимо забавное, и я потребовала у Фараха отчета. Фарах мялся; дело было в том, что он забыл закупить табак, так что старухи напрасно притащились издалека. Это надолго стало для старых кикуйю причиной веселья. При встрече со мной на кукурузном поле любая показывала на меня костлявым пальцем, а ее физиономия покрывалась морщинами веселья, причем так стремительно, словно она незаметно дергала за веревочку; она напоминала мне о том воскресенье, когда вместе с другими любительницами табачка проделала неблизкий путь, в конце которого выяснилось, что я на этот раз забыла про угощение для них. Вот умора, мсабу!

Белые часто обвиняют кикуйю в неблагодарности, но Каманте отнюдь не был неблагодарным и даже облачал в слова свое чувство долга. По прошествии многих лет после нашей первой встречи он продолжал самозабвенно оказывать мне услуги, о которых я его даже не просила, а на мой вопрос, зачем он так поступает, отвечал, что не будь меня, он бы не выжил. Каманте демонстрировал свою признательность и иным способом: трогательно, иногда даже снисходительно помогая мне. Возможно, он всегда помнил, что мы с ним исповедуем одну и ту же религию. В мире дураков я была для него, наверное, одной из самых неподражаемых дур.

С того дня, как он поступил ко мне в услужение и связал свою судьбу с моей, я постоянно чувствовала на себе его пронизательный взгляд; вся моя жизнь была объектом неумолимой критики с его стороны. Думаю, он с самого начала рассматривал мою заботу о его исцелении как пример безнадежной эксцентричности. Однако его ответом была симпатия ко мне и старание рассеять мое вопиющее невежество. Я неоднократно сталкивалась со свидетельствами того, что он уделил внимание и время той или иной проблеме и так построил свои наставления, чтобы мне было проще их усвоить. Каманте начинал у меня в доме с ухода за собаками, а впоследствии дорос до санитар-ассистента. Я узнала, как он проворен, несмотря на свой чудной облик, и отправила на кухню помогать повару Езе. Потом Еза погиб, и Каманте занял его место, на котором и оставался до моего отъезда.

Обычно африканцы очень небрежны со зверьем, но Каманте проявил своеобразие и здесь. Он очень хорошо обращался с собаками и полностью отождествлял себя с ними; он часто докладывал мне, что им требуется, чего им не хватает, о чем они думают... Благодаря ему мои собаки не страдали от блох, хотя в Африке очень трудно этого добиться; часто глубокой ночью мы с Каманте, разбуженные их воем, при свете керосиновой лампы снимали с них по одному страшных муравьев сияфу, пожирающих все на своем пути.

¹ Бой – зд. слуга-туземец (прим. ред.).

Видимо, лежа в больнице при миссии, он не терял времени даром и все впитывал (хотя ни словом не обмолвился потом о своих достижениях), потому проявил смекалку и в роли медицинского ассистента. Уже став поваром, Каманте нередко принимал участие в лечении очередного больного, давая мне очень разумные советы.

Но в качестве повара он проявил таланты, просто не поддающиеся классификации. Поиздевавшись над ним, природа в качестве компенсации наделила его ни с чем не сравнимым кулинарным даром. Его кухонные священнодействия не подлежали объяснению и указывали на гениальность. Как кулинар Каманте был стопроцентным гением и в качестве такового был подвержен напастям всех гениев – бессилием перед лицом собственной силы. Родись Каманте в Европе и окажись он в руках у хорошего наставника, он достиг бы славы и вписал бы достойную страницу в историю. Даже в Африке он сделал себе имя своим незаурядным мастерством.

Я сама проявляла интерес к приготовлению пищи и, впервые вернувшись из Африки в Европу, взяла несколько уроков у знаменитого повара во французском ресторане с мыслью, как забавно будет вкусно готовить в африканских условиях. Мой наставник, месье Перроше, даже предложил мне заняться вместе с ним ресторанным бизнесом – такова была моя преданность этому искусству. Когда рядом со мной оказался Каманте, родственная душа, ко мне вернулся былой интерес к кулинарии. Мне казалось, что наше сотрудничество открывает заманчивые перспективы. Природный кулинарный инстинкт дикаря казался мне необъяснимым чудом. Из-за него я иначе посмотрела на нашу цивилизацию и снова стала видеть в ней божественное начало. Я уподобилась человеку, вновь обретшему веру в Бога, когда френолог показал ему участок головного мозга, отвечающий за теологическое красноречие. Если существует теологическое красноречие, значит, жива и теология, а там недалеко и до обоснования бытия Господня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.